

ГЛАВА XI

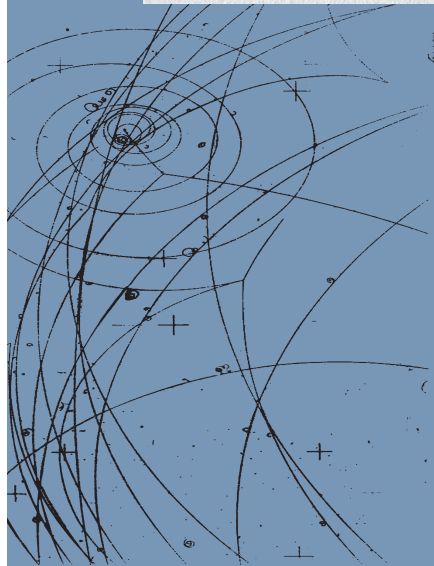
«ТЕТРАДЬ, НАЙДЕННАЯ В ТУМБОЧКЕ...»



Гостиница «Дубна» (А. Иванов)

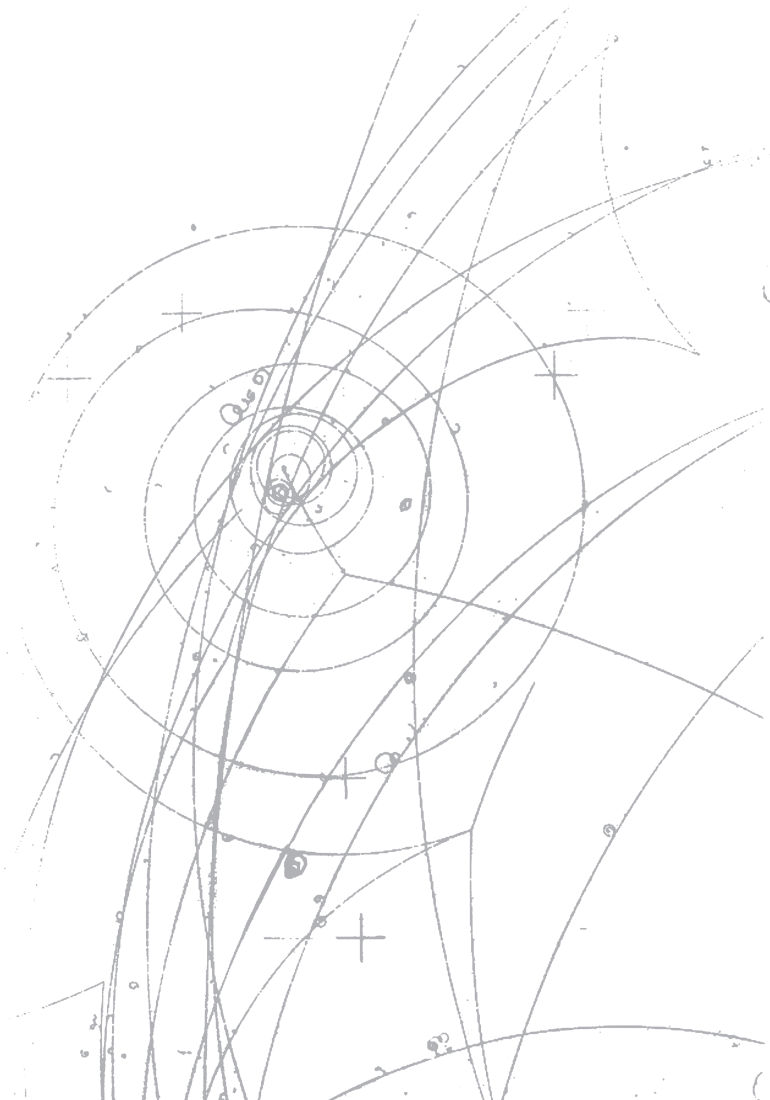
«Аве, Зоя-Оза! И аве, Андрей, автор
величайшей поэмы о величайшей
любви — любви, которая, что
ни говори, началась в Дубне. ...Их
любовь оказалась любовью до гроба,
и даже за гробом она не кончилась.
Аве, Дубна!»

Нина Краснова

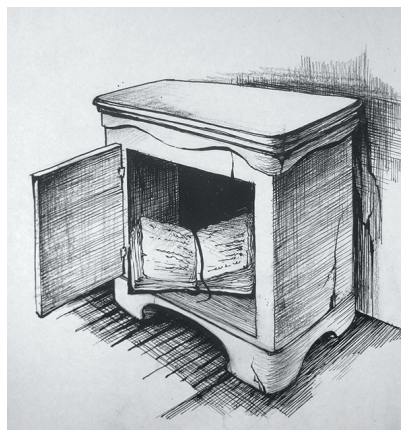


Прощай, дневник, двойник души чужой,
Забывтый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
Я думаю под утро над тобой?

А. Вознесенский



И всё же не даёт покоя вопрос: «А была ли тумбочка?», сам факт существования которой до сих пор будоражит умы и вызывает жаркие споры среди литераторов. Несмотря на непререкаемый авторитет Зои Борисовны и её окончательное «нет!» по данному поводу, пройти мимо этого прозаического, и в то же время до возвышенности поэтического



образа не представляется возможным. Слишком отчётливо он присутствует в поэме Вознесенского, и именно по этой причине не исчезает искушение его материализовать.

Дав смелый ход своим фантазиям, принимаю решение во что бы то ни стало найти тумбочку и отправляюсь в номер 326 гостиницы «Дубна». Открывая дверь, бесконечно волнуясь: здесь, в святая святых, в течение многих лет вдохновенно создавал свои великие произведения Андрей Андреевич Вознесенский. Эти стены помнят и его, и Зою Борисовну, и их друзей. А вот и тумбочка. Та или другая, кто знает...

Подхожу к окну — отсюда, с третьего этажа гостиницы, открывается вид на противоположный, левый, берег Волги, который зрительно воспринимается продолжением этого, правого. Достаточно широкая в наших краях река, искусно прячась между высокими берегами, неожиданно превращается в маленький узкий ручеёк. Эта иллюзия навеивает мысль о том, что не подметить её не мог и поэт. Можно предположить, что у Вознесенского не раз возникало желание убедиться в существовании этого реального водного пространства с его живой, осязаемой энергией. Легко представляю, как они вдвоём с молодым Щёголевым азартно работают вёслами щёголевской «казанки» и преодолевают реку. И уже там, на другой стороне реки, оставшись в одиночестве,

Вознесенский обретает необходимое вдохновение, которое снисходит на него и одаривает прекрасной поэтической сказкой под названием «Оза», и рисует в его воображении образ молодого аспиранта, который забывает в гостинице свой дневник.

Впрочем, всё-таки хочется верить в то, что на самом деле существовали и дневник, и аспирант. Взялась же откуда-то фамилия *Борисов*. Дыма, как известно, без огня не бывает. Возможно, преспокойно поживает себе где-нибудь под Новосибирском или даже в Америке профессор или академик по фамилии Борисов, усмехается про себя над нами и тайно мечтает удивить мир своим откровенным признанием, которое когда-нибудь обнаружат в его мемуарах...

Андрей Вознесенский

ОЗА

(тетрадь, найденная в тумбочке
дубненской гостиницы)

Поэма

*Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слёзы,
слушаю дыхание Твоё.
Аве, Оза...*

*Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...*

*Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Чёрт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!*

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою,
даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолётное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.
Аве, Оза...

I

Женщина стоит у циклотрона —
стройно, слушает замагниченно,
свет сквозь нее струится,
красный, как земляничинка,
в кончике её мизинца,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет её,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за неё мне боязно!
Рядышком с кадьяками
атомного циклотрона 3-10-40.

*Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.*

*Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.*

Говорили ей, — не ходи в зону!

а она

*вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея,
Жертво-ли-приношение?*

Или она нас дразнит?

Не отстегнув браслетки,

*вся изменяясь смутно,
с нами она – и нет её,
прислушавается к чему-то...*

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»

*Но она не слышит. Она ничего не
понимает.*

Может, её называют Оза?

II

Не узнаю окружающего.

*Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,
изменяли очертания, как лампочки иллюминации на
Центральном телеграфе.*

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же.

*И нос был на месте, только вставлен внутрь,
точно полый чехол кинжала. Не умечающийся кончик
торчал из затылка.*

*Деревья лежали навзничь, как ветвистые озёра,
зато тени их стояли вертикально,
будто их вырезали ножницами.*

*Они чуть погромыхивали от ветра,
вроде серебра от шоколада.*

Глубина колодца росла вверх, как чёрный сноп
прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали
кусочки тины. Из трёх облачков шёл дождь. Они были
похожина пластмассовые гребёнки
с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз,
у третьего — вверх).

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни
встала колокольня Ивана Великого.
На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.
Страницы истории были перетасованы, как карты
в колоде. За индустриальной революцией следовало
нашествие Батыея.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили
профилактику. Их разбирали и собирали.
Выходили обновлёнными.
У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине
вроде зеркала отоларинголога.
«Счастливец, — утешали его. — Удобно для замочной
скважины! И видно, и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу: «Сердце забыли
положить, сердце!» Двумя пальцами он
выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола,
вложил что-то и захлопнул
обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство
творчества! От перемены мест слагаемых сумма не
меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия?

Будут роботы.
Психика — это комбинация аминокислот...
Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и
вложить одно полушарие в другое,
как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придётся спилить Эйфелеву башню,
чтобы она не приткнула поверхность в районе
Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая
вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства
сохранял порядок. Его члены сияли,
как яйца в аппарате для просвечивания яиц.
Они были круглы и поэтому
одинаковы со всех сторон. И лишь у одного
над столом вместо туловища торчали ноги
подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал. Докладчик выпятил грудь.
Но голова его, как у целлулоидного пупса,
была повернута вперёд затылком. «Вперёд, к новому
искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.
Но где перёд?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не
то «к новому искусству!») торчала вверх
на манер десяти минут третьего. Люди продолжали
идти целеустремлённой цепочкой по ее направлению,
как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО.

Над всем этим,

как апокалипсический знак, горел плакат:

«Опасайтесь случайных связей!»

Но кнопки были воткнуты остриём вверх.

НИЧЕГО.

Иссиня-чёрные брови были нарисованы не над,
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, её называют Оза?

III

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,
наведёнными снизу,

ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведённым патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полёт безутешен,
но пахнуло полётом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть её
от прицела трясины.

Пусть ещё погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? по утра ли?
за секунду до пули.

IV

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
 роботы,
 роботы речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в оффисы — вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чём претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, как безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..

Обратно к истокам неслись реки.
Обратно от финиша к старту задним ходом
неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались в прутики
саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев
прожжённую дырочку на рубашке, юркнула в ствол
маузера 4-03986, а тот, свернувшись улиткой,
нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит,
что человечество имеет обратный возраст.
Оно идёт от
старости к молодости. Хотя бы Средневековье.
Старость. Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс — бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, всё познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века,
задумчивой беременности XIX...
А начало XX века — бешеный ритм революции!..
Восемнадцатилетие командармов.
«Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, —
когда все мечты осуществляются.
Техника в добрых руках добра. Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?..»
Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

А не махнуть ли на море?

VI

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,
но внезапно чёрный ворон примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал: «А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,

утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Всё — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза -
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живём не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И
неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.
Кто-то сдуру соткнул на приморской набережной два
ртутных фонаря. Мы идём навстречу.
Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.
И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши
тени — живые, тёплые, окружённые мёртвой белизной.
Мне кажется, что ты все время идёшь навстречу!
Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как
очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами

прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя ещё может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!» Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Ещё не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ёрзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!»

А раньше я тебя боялась... А о чём ты думаешь?..»

Может, её называют Оза?

VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы ещё тёплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелек пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на чёрной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

IX

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая
подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращённое движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нём тонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть — увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жуёт бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решётку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьётся голосок...

От автора и кое-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Берёзы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет её берёз.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашёл в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
её командировщики листали,

острили на полях её устало
и засыпали, сияясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактист»!
А снизу красным: «Сам туда катись!»
«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
ты смотришь в книгу —
видишь фигу»

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментария без них.

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь, рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ.

Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане
«Берлин». Зеркало там на потолке.
Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В
центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с
воткнутыми свечами.
Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные чёрные
розетки костюмов, сияли лысины и причёски. Лиц не было
видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на
пятке носка. Её можно было закрасить чернилами.
У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь
неё, как зёрнышки, просвечивали три мысли (две чёрные и
одна светлая — незрелая).

Проборы щёголей горели, как щели в копилках.
Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным
нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.
Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички
перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.
И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.
«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»
«Генерала, может, ждут?», «А может, помер кто?»
Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные
денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об
меня, царапают вилками.
Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок
в целлофане.
Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакого!
Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»
Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап
с вертолётa). Голос его странен, как бы антимирен ему.

Молитва

Матьер Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —
стань нашей посредницей.

Неумолимы зрачки Её льдистые.
Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь заברי и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел, как кикимора.
Всё безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Матьер Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец. Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берёт следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Таёт теплоход.
Дай мне погрузиться в твоё озеро.
До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесёт...

Все замолкают. Слово берет тамада Ъ.
Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник.
«Гост за новорожденную».
Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За её новое рождение, и я, как крёстный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.) Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении?

Что это за потолочно-зеркальная реальность?
Что за наоборотная страна?!
Ты-то как попала сюда?
Ещё мгновение, и всё сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!
Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою страну, страну естественности, чувства — где ольха, теплоходы, где доброе зеркало Онежского озера...
Помнишь?

*Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд
с кетовой икрой.*

*Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный
классик с ужасом смотрит на
мой желудок? Боже, ведь я-то невидим.*

*А бутерброд реален! Он передвигается по
мне, как красный джемпер в лифте.*

*Классик что-то шепчет соседу. Слух моментально
пронизывает головы, как бусы на нитке.*

*Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все
глядят на бутерброд.*

*«А нас килькой кормят!» — вопит классик. Надо
спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же
выручит тебя, кто же разобьёт зеркало?!*

*Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку
пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек.
Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой.
(Как всё напоминает что-то!) Тебя просят спеть...*

*Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится
по мне. Подошвы! Подошвы!*

*Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с
хрустом давит по туфелькам.*

*Чьи-то каблочки, подобно швейной машинке,
прошивают мне кожу на лице.*

Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю всё. Я начинаю понимать всё.

Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

*«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.*

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, её называют Оза?

XI

Знаешь, Зоя, теперь — без трёпа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш. И лицо твоё опустело.
Что-то в нём приостановилось
И с тех пор невозстановимо.

Всяко было — и дождь, и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоел, зараза.
Только ты не переменилась.

А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рёв их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на чёрта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое — как тебя уберечь теперь!
Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.
Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернёмся к поэме.

XII

Экспериментщик, чёртова перечница,
изобрёл агрегат ядрёный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имярек.
Все прогрессы
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное — человечность —
хорошо ль вам? красиво? грустно?

Край мой, родина красоты,
край Рублёва, Блока, Ленина,
где снега до ошеломления
загораживающе чисты...
Выше нет предопределения —
мир к спасению привести!

«Извиняюсь, вы — певец паровозов?»
«Фи, это так архаично...
Я — трубадур турбогенераторов!»
Что за бред! Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времён:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно, в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.
Что же с Зоей?» Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

*Отчуждённо, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...*

*Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!*

XIII

*Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?*

*Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.*

*Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.*

*И может быть, нескладный и щемящий,
придёт хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.*

XIV

*НА КРЫЛЬЦЕ,
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА, Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.
ШЁЛ САМОЛЕТ.
И ЗА НИМ НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП НА БУКСИРЕ.*

Дубна — Одесса
Март 1964 г